

Сергей Захаров

Сорок дней пути

жестко о главном



Сергей Захаров

Сорок дней пути

«Издательские решения»

Захаров С. В.

Сорок дней пути / С. В. Захаров — «Издательские решения»,

«...А там дёрнуло, вспыхнуло, ослепило — и стихло. Мать, изнатужившись, изогнувшись, всхрустнув всеми суставами и костями, отъяла седьмую змею, выжила ее из себя, и ничто больше не связывало их. Тело мамино распрямилось, излегчилось и опустело. Семь бордовых печатей перестали кровоточить...» Тебе 16, и ты только что осталась без матери — можно ли представить ситуацию страшнее? Именно в таком положении оказалась главная героиня повести. И помочь ей никто не сможет — только она сама.

© Захаров С. В.

© Издательские решения

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	8
Глава третья	11
Конец ознакомительного фрагмента.	14

**Сорок дней пути
жестко о главном
Сергей Захаров**

© Сергей Захаров, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

...И дедушка, ущербный «Хемингуэй», названивал с хмурого утраца, был озадаченным зверем.

– У-у-у, Валечка-то, Валь... ик... люшечка наша, чего утвор... ик... рила, дочечка-то, у-у-у... – разбирала девочка, ожидая: спросит дед, не спросит – про то самое? Угадала мама или нет?

Спросил. Провывшись едва, проикавшись, слово в слово спросил – как пророчила мать. Словно в воду глядела – в безжалостную и чужую воду.

– А скажи, внучечка: не оставляла ли мамка чего? Не давала ли чего сохранить – перед тем, как в больницу лечь? Ты скажи, деточка, как есть. Дедушке можно – дедушка тебя любит. Дедушка тебе рОдный. Своя кровь, уу-у-уу...

И снова взгудел икающей трубой Иерихона, а девочка с вопросом тем и глотнула, во второй, за полкруга, раз – твёрдого воздуха. Страшного воздуха. Камня. Набьёшь им против воли легкие, а дальше – стоп! Ни вынуть, ни внять, и сходятся в лезвие грани, и стой, балансируй, держись на кровавых ступнях...

Не выстоять. Поехала девочка по обоям вниз, а в глазах, сквозь хвостатые искры: звёрёк. Детёныш звериный, не разбери чей – голый еще и слепой, незадолго на свет явленный. Наобум тычет влажной мордахой, щупает суженный мир... Ищет. Ищет сосок на мамкином брюхе, а соска – нет! Ни мамки, ни брюха, ни соска – ничего. Нет жизнетворной связи, а розовым-детским в стороннюю твердь – не из приятных занятие. Жутковато это – когда в твердь. Совсем, начистоту, никуда.

Так прихватило – и отмякло, отлегло. И правильно, что отлегло – она же, как мама. Должна быть, как мама. Умная, сильная и, если нужно, злая – неизвестно вот только, будет ли.

Антикварная трубка качалась на аспидном проводе, гундосила выцветшим дедом. Понятно, расклеился. Понятно, страдает. А ведь спросил! Так вот и брякнул в лоб, на другом ладу – почти без спиртом согретой слезы. Всё, как пророчила мама. Вот и поди разберись тут, если даже дед родной...

А старик, меж тем, был ей ближе всех остальных – кроме бабушки и, разумеется, мамы.

...«старик без моря», как звала его мать. В словах ее много было верного. Дед, багровое мясо, походил на самого Хема и всех его brutальных героев разом – да только схожесть эта на внешности, главным образом, и заканчивалась.

Всякий, знавший старика ближе, понимал: уж этот-то не пошел бы, как Сантьяго, в море воевать упрямую рыбину – ни за какие ковриги! Он, скорее, дождал бы того, настоящего Старика, на берегу да и скупил все за полушку-бесценок, или другим каким взял обманом – коли нашлось бы там, что брать. Вот именно – «коли нашлось бы»: в том беда, что у Стариков настоящих так чаще всего и бывает: зубы на полку, а ветер – в карман.

Не-е-ет, её дедушка был из других – и как станешь его винить за то? Таким уж он уродился – торгашом и выжигой, и выходило каждый раз, что людям от общения с ним – ни навару, ни душевного благолепия, а сам дед, напротив, только богател, наливался угрозистой мощью и багровел еще более.

Взять хотя бы цыгана бельмастого Мишку: ни в какую не хотел тот продавать старику Бармалея, искрометного жеребца, и не продал бы, точно – когда б не вызнал случайно дед, что пришлый цыган – запойный алкаш в завязке, да не стал бы совращать «ромю» дармовым самогоном.

И совратил ведь – опоенный безумец Мишка спустил-таки прекрасного выродка ни за грош. Деду коняга и нужен-то был не пойми зачем: так, покуражиться перед деревенскими

молодыми курвами – Мишка же, протрезвев, убивался в прокуренный голос и дважды пытался повеситься: Бармалей ему светил Вифлеемом.

Пробовал Мишка воззвать и к дедовой совести, не ведая, что товара такого у деда нет: ходил на усадьбу, мешал шелковые, со слезой, просьбы с суматошными угрозами и хватаньем за латунный грибок финаря – но здесь дедушка был твёрд, как Роберт Джордан.

– Шел бы ты Миша, со двора миром. Все по обоюдному согласию. Сыны подтвердят. Неча водку жрать, коли не умеешь! Сразу дело, а потом магарыч! – выслушав цыганские тирады, поучил-резюмировал дед и показал, для убеждения, волосатую кувалду кулака.

Игорь, старший дедов сын, курил, боковато улыбаясь, у крыльца и смотрел не мимо, а СКВОЗЬ цыгана на вилы у того за спиной. Цыган проследил взгляд его – и заметно сник. Вилы стояли зубьями вверх и нарядно блестели.

Остерёгшись даже плюнуть, Мишка подался прочь, а вскоре исчез из деревни вовсе, запил снова окаянным винтом и, по слухам, зарезан был в городе, в привокзальной пивнухе, четыре недели спустя – да кому с того какое горе?

Дед жил крепким хозяйством, каждый сезон забирал по окрестным сёлам малину задёшево и пёр на небросовом «двести восьмом» на Москву. С «малиновых денег» был и «Туа-рег» едва ли не с нуля, и новый, в три этажа, дом с угловой ротондой, и кубышка, на какую можно бы обосноваться в парижском полукурятнике с видом на Нотр-Дам – а старик всё искал, кого бы облапошить да нагреть, пусть даже по мелочи, и каждой удачной афере радовался, как срочник – вокзальной шалаве.

Такой вот «Хемингуэй» – в барыжьем варианте. Дедушка, ити его мать.

А всё одно: старика девочка понимала – во всех его непонятностях. Дедушка бывал вреден, часто мерзок, ещё чаще – жесток. Но даже жестокость его была незамутненной, искренней жестокостью ребёнка – она же и сама едва перестала водиться с куклами. Потому и деда, страховитого дитятю в полтора мясных центнера – понимала. До сегодняшнего звонка.

Глава вторая

Папа, уключавшись от гиблого известия в ночь, бродил бледным деверем из двери в дверь, дважды падал, расшибся и спал, вздрагивая собачьи, на полу у входной двери.

Поутру, однако, собрался, поцеловал дочь в солнечную макушку, прослезился молчаливым набегом – девочке невообразимо сделалось жаль его, и она увлажнилась глазами тоже – и выехал хлопотать по смертным формальностям.

Похоронные деньги, и много, мама загодя оставила в особом конверте, наказав девочке, когда и при каких обстоятельствах вскрыть – так что хлопотать было на что.

А после полудня пришел янтарный автобус, подводя невозможный итог.

Девочка дежурила на подоконнике, холодила влажноватым стеклом припухший, жаркий со вчерашнего нос – и, углядев внизу ползущее к подъезду крикливо-жёлтое, яркое по-нехорошему тело, разом выстыла и замерла.

Воздух внутри вспыхнул, загустел и сделался через миг твёрдым – ни выдавить, ни вдавить. Понятно, какой это был автобус и кого он привез. Так вот сразу, в одно касание глаз – понятно.

И ждать больше не требовалось. А жить – не жилось и подавно. Подавно-давно – с десяти вечерних, накануне, часов: когда ПОЗВОНИЛИ.

Сутки еще не минули, но лёг посередке времени разлом, гнилью дохнувшая глубина, из какой возросла и жажнула в небо тараном непереходимая грань-гранит – оттого и казалось, что было это в смутном, многолетней давности, далеке: прежняя, до звонка, жизнь. И все, что «до», касательство к девочке вряд ли имело: ведь грань-то – неодолима.

А она, желтоглазая – одолела. Одолела зачем-то и перешла в жизнь другую, невозможную и не свою. В жизнь «после», где все не так, и воздух – твердое тело. В секунду воздух может обратиться в твердь. А разве дышат твёрдыми телами?

Но янтарный автобус привёз и ждёт.

Спазм отпускал; тоненьким смятым рукавом глотки с присвистом пошел обретаемый трудно газ. И, опять же, казалось, его нужно хватать руками и заталкивать в горло и далее, в жухлую кожуру легких, чтобы вытянуть после тем же путем обратно – и так раз за разом – иначе не продышишь и не проживёшь. А прожить – надо. Прожить, выжить и пережить, нащупать и ткнуться в родной сосок, какой и мягче, и прочней-надёжней всего на свете, потому как в нем, единственно – жизнь дающая нить...

Транспорт, однако, углядела не только девочка.

Застучало в гулкий разнобой по коридору: будто шпалы сбрасывали на мёрзлую землю.

Братья мамины, темноликие изверги, один – охранник, другой – сержант-контрактник ПВ, берцами давили паркет, торопились, вынося проемы, встречать – и прогрохали серой лестницей вниз.

Девочка – по черноте одежной да жёлтому нездорово пятну лица с ночными окружками у глаз она легко сошла бы за богомольную старушку, когда б не формы под джинсовым трауром: формы свеженького, не дозревшего самую чуть шестнадцатилетнего женского существа, ещё не нокаут для мужиков, но уже его обещание – подалась за дядьями.

Папа, приехавший с маминым трупом, похмелен был, суетлив бабьи, нехорошо мят.

Оборотясь к водителю, конструировал что-то в воздухе белыми голубями рук, и хорошо понималось с расстояния, что постройка его – так же нелепа, беспомощна и слаба, как и сам он, и, того и гляди, рассыплется в прах.

А водитель, горных явно кровей, показался девочке страшен. Вышел и курил у подржавленной, вполовину раскрытой двери, и, как увиделось ей, улыбался, просвечивая свозь щеть усов белизной.

«Нашел время и место, урод! Вот гадина! Ему-то, понятно, по барабану, но зачем улыбаться-то? Улыбаться зачем, урод?»

– Гад. Урод. Гадина. Гад. Урод. Гадина! – она тихонько проговаривала слова эти в упрямый такт – и поняла вдруг, что дело тут не в улыбке, но в уродстве верхней губы, отчего водитель и глядел по жизни весельчаком. И усы подстриженной шваброй для того лишь, должно быть, чтобы скрыть заячий этот знак – а она напридумывала тут чёрт-те чего...

Но было уже не до кавказца – дядя потащили из дверей синее армейское одеяло с длинным, закрученным в грязно-белое, непонятным и длинным, сокрытым в нечисто-белое, длинным и жутким, чужим и своим...

Снова закаменел-ожесточился воздух, и мысли, теснясь, тыкались по малому кругу. Девочка пыталась и не могла ощутить мать, не признавала близость ее и не верила, что там, под замызганным саваном – если не мама, то хотя бы ею бывшее тело.

Дядя чертыхались, забирая надёжней в клешни синие худые углы. Кокон-труп чуть выгнул к земле одеяло, но хранил жёсткость.

– Тяжёлая, что твой свинец! Валечка... Валюша... Кто бы сказал... – дядя Игорь, старший из двоих, поражался и разом взмок.

– А хули ты думал? – лаконично возразил дядя Андрей. Дважды меньший бывал в южных командировках, насмотрелся обезжизненных тел и нашивал их, трупов, немало: с чего бы ему удивляться?

Каждому из дядёв от рождения досталась дедова половина: старшему – тяжелая мощь, младшему – злая резкость. И наглой изворотливой толковости у каждого было вполтину против деда меньше – потому и не процветали.

Девочка мешалась, стараясь докоснуться до сокрытого тела, пусть через ткань – докоснулась и отдёргнула тут же руку: пальцы не узнавали тёплую мягкую мать и запомнили дерево.

Она подняла чёткий восковой лик к одетому в «шубу» фасаду: в рамки окон вставлены были плоские лица соседей. В доме напротив, через двор, играла вчерашняя, из законченной жизни, музыка – бумц! бумц! бумц! – но слышалась, как через подушку.

В подъезде пошло ещё туже. Дядя кряхтели и матерились потоком, и ждалось девочке, что вот-вот бросят они неудобный груз, возненавидев его окончательно, ухнут в колодец-пролёт да уйдут – нет, донесли.

Ожидали бабку и деда – те должны были вот-вот явиться с пригородной электрички. Дед с ночи пьян был вусмерть, внедорожник вести не мог, а на такси расшвыриваться не имел похабной привычки. Пьяный или другой, а принцип блюсти надо – дед и блюл.

А бабули соседские – Вася и Тася – ходили уж округ стола, куда только что взгромоздили маму. Чужому мытью доверия не было. Два таза с последней водой – желтый и красный – пятнели у балконной двери. Девочку туда не пустили, да и сама она не пошла бы: боязно было до жара, до судорог в пальцах ног и огненного червя вдоль позвоночника.

Дядя курили в кухне. Младший взял девочку за руку чуть выше локтя, дыхнул в макушку вчерашним праздником.

– Ты вот чего, Лен... Старик твой говорит, что проверил счета мамины. Сегодня утром ходил – в один банк и другой. Мы с Андрюхой хорошо его потрясли. Чего получается-то, по счетам. Валя, оказывается, перед тем, как в больницу лечь, сняла с книжек-то. Много сняла. А еще больше, поди, у ней в кубышке было заначено! Хорошо сестричка на курах поднялась! Так это, ты вот что... Может, она тебе сохранить чего-нибудь отдавала? Бате-то понятно, что нет – куда ему, демону алкогольному, давать? По пьяни отправил бы голодающим детям Африки – и сам потом не вспомнил бы. Или на девок, шкур консерваторских, спустил... Если она кому и доверила бы: спрятать там, приберечь – так скорее тебе.

– Чего приберечь? – девочка не хотела и не могла удивляться.

Да и нечему удивляться: теперь, за гранью, всё вчуже и по-другому. Всё так, как предсказывала мама. И откуда только ей было знать? Но, так ли, этак ли – надо привыкать здесь. Ведь зачем-то же одолела она – невозможный гранит.

– Чего приберечь-то? – повторила негромко она.

– Да ты не подумай чего, племяшка! – зачастил от окна дядя Игорь, старший. – Мы ж тебе родные, не кто-нибудь. Батяня твой, своими именами – мало, что интеллигент, виолончелист куев – так еще и алкаш. Валюху до свадьбы еще предупреждали: пустой человек – да разве она кого слушала? А у нас, ты знаешь, по-серьёзному. Мы тебе не чужие. Родная кровь. Родственники. Самые близкие люди. У нас, Лен, оно целее будет. Да что целее... Прокрутим раз-другой-третий, есть тут пара хороших тем – к совершеннолетию в два раза больше вернем. Дорастёшь – на учебу тебе, и на свадьбу, и на всё остальное... Там разберёмся – по родственному, по справедливости. Между своими какой обман? Обидно же – столько бабла... Не видела, может старик твой прятал чего? Ну, так чё, Лен?

– Не знаю, – сказала девочка медленно, печально и строго. – Ничего она мне не говорила и не давала. Ни-че-го.

– Ничего, говоришь... Вот хрень! Где ж их теперь искать? Хмыря этого, батю твою, что ли, опять трясти... Вот хрень! Чёртова семейка! Все в деда пошли, как один: концов не найдёшь, хоть за ребра вешай... – суровел дядя Игорь и поскреб дюймовый лоб. – Эй. Эй! Эй-эй! Ты чего, Лен? Ты присядь, присядь, успокойся... Вот хрень, этого не хватало! Андрюха, тщи нашатырь!

Прибыли к вечеру дед с бабушкой. Старик, увидав тело дочки, заухал обескураженным филином, пошел, шумно снося углы, по квартире. Бабушка скулила тихонько, а после притихла вовсе, вжалась в самое себя и там, внутри, и кричала – и только хорошие, крупные, раздавленные постоянной, сизмальства и во всю жизнь, работой руки её яростно плясали от боли.

Девочка приезд стариков не застала – отнесенная в розовую спальню пучеглазым дядей Андреем, укрытая до подбородка легким палевым пледом, она была с мамой.

Глава третья

В янтарном автобусе места хватает двоим: внутри он куда просторней, чем может показаться извне. Вот ведь, никогда бы и не подумала! Две каталки стали впрытык, и тела обнажённые – девочки и Валентины – соприкасались плечами, локтями и бедрами, содвинутые тугими агатовыми шлангами с бледной восковой желтью присосок на суженных концах. Кожу под резиной чуть покалывало и холодило.

Водитель скрежетал и позвякивал ниже железным: как будто вытаскивал один за другим, осматривал, пересчитывал и скидывал снова в ящик большие, в килограмм веса, гвозди. С каталки видна была лишь спина его в пропотевшей насквозь шафрановой футболке да чёрный, в синь, каракуль головы. В распахнутую, исклеванную ржой дверь вместе с тяжелым и жарким воздухом заметало мелкий песок.

– ...Вот и поедem, красавицы! – сказал, закончив и разогнувшись, он – всё тот же разулыбчивый не по воле кавказец. – С ветерком рванём, как положено! Ай, Андорра-мама!

Проскрипело, скрипнув дважды, лязгнуло и отсекло. После лязгнуло еще раз спереди и слева. Автобус без желания завёлся и пошёл. Багровая ртуть термометра на белом блестящем столбе посерединке грязного стекла, отделяющего грузовой отсек от салона, всползла далеко за тридцать.

Ехалось с пробуксовкой, в натяг – под колесами противился и не пускал гравий.

Девочке виделось, что где-то внизу, под автобусным носом – крепкий и жадный железный рот, и рот этот нагребает в себя без усталости гладкое мясо камня, катает от щеки к щеке и размалывает с хрустом на стальных безжалостных зубах. После гравий закончился, автобус перестал жевать и побежал веселее. Девочка пробовала приподняться – кожа под присосками тут же тянулась и ныла сильнее.

– Лежи тихо! – мать поддёрнула в досаде плечом. – Ты мне больно делаешь, дурёха!

Водитель сдвинул запальцованное жирно стекло, протянул матери прикуренную сигарету. Та, не поднимая головы, приняла, затянулась в два прерывистых раза и, выдувая дым в потолок, продолжала:

– Я уже говорила. Перед самой больницей. Говорила – только ты не услышала. Если я подохну, у тебя не останется никого. Ни-ко-го. И ты это понимаешь. Ты знаешь это сама. Не дура – моя дочь всё же! Помнишь, был разговор?

Девочка помнила. Разговор был, и не из душеприятных.

– Мне не нравится твой друг, – выдала тогда мать.

– Зато он нравится мне, – возразила девочка.

– Молчи и слушай! – сказала мать. – Я не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Ему всего двадцать один, а я ни разу не видела его трезвым. Ни разу он не пришел к нам трезвым. Если со мной что-то случится... Это не тот человек. Я знаю, что говорю! Мне не нравится, что он пьёт у нас дома, гадит, дрыхнет, блюет – и ни разу не попросит прощения за свои мерзости; мне не нравится, наконец, что он спит с тобой, и тоже у нас дома, и чуть ли на моих глазах...

– Ну, с тобой здесь тоже спят! И тоже чуть ли не на моих глазах. И не только папа! Игорь Петрович, с бородавкой, инженер по безопасности – думаешь, я не видела?! – девочка, сказав, тут же струсилась: мать и врезать могла не задумываясь, а рука у неё была не папиной, а мужской тяжести – но этого, на удивление, не случилось.

– Вот спасибо... – только и нашлась мать. Девочка еще не видела её такой потерянной.

Вечером они тосковали на балконе вдвоем, сбивчиво жаловались на непонимание – и, в конце концов, заревев глаза и исключив друг дружку лица, помирились. Мать даже позволила ей рюмку шотландского самогона. Да и сама проглотила порядком. Тогда девочка и узнала

от нее – о больнице. Хотя о грани, о самой возможности ее, никто, разумеется, и помыслить не мог. Как же быстро поменялось всё...

...Теперь, завывая и пробуксовывая, автобус упрямо лез в долгую и крутую гору. Два раза тряхнуло, после кинуло вперекос на левую сторону, так, что девочку швырнуло на мать, а после потащило, норовя оторвать, обратно – но восковые жёсткие присоски держали накрепко.

– ...Когда я подохну. Молчи и слушай! – говорила мать. Шум в салоне вполонину заглушал слова её. Где-то на полу ехало с неласковым звуком железо. – Молчи, слушай и запоминай. Когда меня не станет, у тебя не останется никого. С папой понятно. Он слабый человек, и всегда был таким. Всегда, с первых дней, я была паровозом, Ленка. А с тех пор, как села в кресло директора – тем более. Мало кто из мужиков способен пережить факт, что жена успешнее, чем он. И зарабатывает больше, чем он. Наш папка – не пережил. Но кто-то же должен нести в семью деньги. Папа зарабатывать, как ты знаешь, не хочет и не умеет. И мне, извини, глубоко побоку все его амбиции и самолюбие: у меня была и есть ты. А папа... Когда я умру, он совсем сломается, дочка. Без паровоза он жить не приучен, и ты должна быть готова к этому. Папа – иждивенец, и, вдобавок – конченный эгоист, как и положено иждивенцу. Ростроповича из него не получилось, а преподавать в музыкальной школе для него – слишком мелко. Но насчёт друга своего – ты подумай. Я прошу тебя, дочка – крепко подумай! Это не тот человек – я уже говорила и повторяю сейчас. Совсем не тот человек. Ладно, погоди – своим умом дойдешь, что к чему. Я знаю, что говорю! Эй, чернявый! Ещё сигаретку придумаем?

– Придумаем, почему нет, – откликнулся вбок кавказец. – Возьмём сейчас перевал, встанем – и сообразим.

И действительно, «Фольксваген» перестал вскоре тужиться, выровнялся и покатился совсем легко. Прохладней сделалось в автобусом гулком кубе, и багровые градусы, видела девочка, опадали стремительно вниз. После ещё раз тряхнуло, и – стали.

Высвистывая «Реквием» траурным соловьем, водитель распахнул дверные половины, запуская разом холод и синь.

– Беседуем, курим, прощаемся! Дальше положишь – ближе возьмёшь! Мой матерь, твой матерь, всех матерь... Провожающих просьба покинуть вагон. Наше время – ваши деньги! – с повадкой мандариновой, не совсем понятно обозначил он. – Поскорей, красавицы, давай-давай-давай-не-задерживай – мне еще девять рейсов сегодня делать, да?

– Отошёл бы ты в сторонку, – попросила мать. – Пять минут у нас есть?

– Пять есть, почему нет? Десять нет, а пять – всегда на здоровье, – кавказец, ежась в упавшем мгновенно холоде, сгинул из рамки-двери, и теперь всюду, куда глаз доставал, зрится девочке незатёртый небесный денем.

– ...Когда я умру. Слушай и молчи. По большому счёту, человек всегда один. Один рождается, и умирает один. А посередке – два-три человека, которым веришь. Два-три – и то, если повезёт. Редкость большая – люди, которым веришь. Всегда нужно рассчитывать только на себя. И верить – только себе. Или мне – но меня сейчас не будет. Тихо! Прекрати ныть! Дедушка... Дед сбрендил на старости лет, и чем дальше, тем хуже... За копейку удавится, а скорее, удавит – а на шлюх малолетних швырять готов, не жалеючи... Бабка слезами залива-ется, не знает, где придется век доживать – этому черту старому что угодно в башку взбрести может. Приведет когда-нибудь шалаву семнадцатилетнюю, а бабушку – вон из дома. Этот может. Этот все может. Но нарвется рано или поздно и сам – попадет на такую пройду, что с голым задом останется. Это ты мне поверь – я людей знаю. Не хочу, чтобы ты от него зависела. Дедушка, родная кровь – все понятно. А чтобы зависела – не хочу. А бабушка что? Бабушка затюкана дальше некуда. Запугал ее старый чёрт по самое не хочу. Смотрит деду в рот, слово сказать боится. Овца она бессловесная, прости, Господи, ведь она мать мне, и я ее люблю и любить буду... Но овца! Как скажет дед, так и будет: он голова. И ничего тут не изменишь. Любить их – люби. Их надо любить, они тебе родные. Других нет и не будет. Но помни: рассчи-

тивать – только на себя. Про братиков, Игоря да Андрея – вообще говорить не стану. Как и про супружниц их, Лидку с Анжелкой. С той поры, как директором меня поставили, чего только они про меня не несли! А в глаза – мёд, муси-пуси, «Валя, да ты умница, да ты красавица, и дочка у тебя какая красивая, только не слишком ли ты ее балуешь, одежду дороговую охапками, мы такой за жизнь не одели ни разу, золотом всю обвешала, смотри, испортишь малую совсем...» Тьфу, дуры! У вас, куриц, спросить забыла! Всегда их терпеть не могла, сколько знаю. Курицы и есть! Эти только рады будут – прихапать, что можно. Посмотришь – переделаются еще до того, как гроб мой из дома вынесут. Да черт с ними, с убогими... Ты помни, что я тебе говорю: рассчитывать можно только на себя. И верить – только себе. Ты проблем не видела и не знала, пока была я. Теперь увидишь. Теперь узнаешь. Я тебя, Ленка, не пугаю. Я тебе рассказываю, как есть. Что могла, я сделала – остальное теперь зависеть будет только от тебя. Эх, совсем ты еще мокрогубая... Мне бы лет пять-семь, доча, чтобы на ноги тебя поставить... Да пусть три, два хотя бы года... Только где взять их, эти три-два?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.